

*Не знаю, насколько мне удалось передать читателям
главные черты его образа, но я уже доволен тем,
что он побыл со мной, в моем
воспоминании... Человек он был!*

И.С. Тургенев. Воспоминания о Белинском

ТИПОГРАФСКАЯ КРАСКА

В детском моем сознании (или подсознании?) отец был связан с мотоциклом. Еще в солтонской районной газете, куда отец напросился из «Алтайской правды», у него был редакционный мотоцикл — «Иж». Но я его не помню: мал был. Помню мотоцикл в Романове, где отец тоже был редактором районной газеты. «М-72». Тяжелый, с коляской, вроде «Урала». И запах бензина помню, обнаженный, машина так не пахнет. Запах детства.

Вот отец приехал домой, поставил мотоцикл у сарая. Я тут же взобрался на него, лег на бак — руки еле достают до руля — и тарахчу с упоением на разные лады.

Отец везет меня в детский сад. Я распластался на баке и с пеной у рта «газую», помогаю мотоциклу. Я не люблю детсад, волокут меня в него всегда с воплями, иногда отец вынужден с полдороги возвращаться домой, чтобы всыпать мне ремня, но на мотоцикле я готов ехать хоть куда.

Отец останавливается у ворот садика, не вставая с сиденья, снимает меня и передает воспитательнице. Эх, как быстро мы доехали! Но теперь реветь я не имею никакого права.

Воспитательница кокетничает с отцом. Мне это не нравится, и я вывинчиваюсь из ее рук на землю. Она ведет меня в ограду, а я поворачиваюсь назад и смотрю, как отец, вывернув руль и отталкиваясь пятками, спячивает тяжелый мотоцикл и, газанув, уезжает.

Вот отец учит меня ездить на мотоцикле с коляской. Мне года четыре. Я еду, а отец идет рядом. Мне вдруг взбредает в голову подшутить над отцом. Поворачиваю правую ручку на себя, мощный мотоцикл прыгает вперед — отец уже не идет, а бежит, но все равно не успевает за мной.

— Юрка, — кричит, — сбавь газ!

Так и быть, сбавляю.

— Ах ты, поросенок... — запыхавшийся и немного напуганный отец догоняет меня. Я улыбаюсь, довольный: с мотоциклом я сильнее отца.

...Есть еще один запах, который так же сильно волнует меня. Это запах свежей типографской краски. Может, отец брал меня с собой в типографию еще в Солтоне или Романове и этот запах родной мне с детства?

Этого не помню. Когда я был уже студентом отделения журналистики Иркутского университета, отец попросил директора типографии «Алтайская правда» Клавдию Антоновну Пойлову сделать мне экскурсию по типографии. И она провела нас по всем цехам. С тех пор я «сознательно» помню и люблю запах типографской краски. Запах моей профессии.

Тогда, войдя в цех и вдохнув его воздух, я понял, что он мне родной. И чумазы люди в черных халатах, работавшие здесь, тоже показались мне родными. По крайней мере, с одним из них я был знаком с детства, хотя тоже забыл его, как и запах типографской краски. Это был метранпаж (т.е. верстальщик) Александр Дмитриевич Зиновьев. Отец работал с ним в солтонской районке в начале 50-х годов прошлого века и очень ценил его как профессионала.

Зиновьев был далеко не единственным газетчиком, уважение к которому отец пронес через всю жизнь и передал своим сыновьям. Вообще слово «газетчик» было у отца одним из самых любимых. Другое его любимое — «разведчик» (его он вынес даже в название книги о своих фронтовых товарищах — «Книги о разведчиках»). И третье слово, которое объединяло два первых, — «ребята». Не было для него лучших слов, выражавших чувство дружества, чем «ребята-разведчики», «ребята-газетчики».

Другом отца, тоже еще с Солтона, стал на всю жизнь Борис Константинович Урезков. Сначала секретарь райкома комсомола, секретарь горкома партии в Алейске, он затем тридцать лет отдал газете, стал редактором областной «Звезды Алтая». Многие годы отец дружил с редакторами районов Василием Павловичем Леоновым, Анатолием Семёновичем Прохоровым, Иваном Фёдоровичем Храбровым, Семёном Васильевичем Бурчиком...

В «Алтайской правде» отец выделял Ивана Ивановича Березюка как талантливого журналиста и называл его по имени-отчеству даже за глаза, хотя был старше лет на десять — пятнадцать.

Отец вообще любил талантливых людей, в какой бы области их способности ни проявлялись. Но считал, что для настоящего газетчика быть талантливым — мало. Нужно быть еще и смелым. В конце концов, интеллигент должен быть в оппозиции к любой власти.

Отец, например, участвовал в свержении солтонского первого секретаря-самодура или даже был закоперщиком этого доброго дела.

(Мама рассказала: по заведенному в то время порядку сидя по ночам в райкоме, секретарь, чтобы ему не было скучно, собирал работников райкома и рассказывал им до утра свою жизнь и все, что приходило ему в голову. Мама не знала, что ее нельзя было отрывать ночью от маленького ребенка — от меня.)

Затем отец опубликовал стихотворный фельетон о жене председателя райисполкома, которая любила ходить в магазин через черный ход. Написал его тот самый Урезков.

(Мама рассказала: ей как работнице райкома выдали муку. Отец, когда узнал у нее, что выдали только райкомовцам, велел вернуть нелишний для семьи продукт.)

От беспокойного редактора солтонское начальство избавилось: отца перевели в Романово, тоже редактором.

Близкими друзьями отца были ставшие впоследствии, как и он, писателями Виктор Степанович Сидоров, Игорь Михайлович Пантюхов и Олег Михайлович

но и у меня при этом волшебном слове сразу поднималось настроение, так как все газетчики были люди веселые, остроумные, способные на розыгрыш. И я мальчишкой крутился возле них, заглядывал им в рот, стараясь захватить момент рождения шутки. И вот дядя Витя Сидоров, высунувшись на нашей кухне в окно, спрашивает отца:

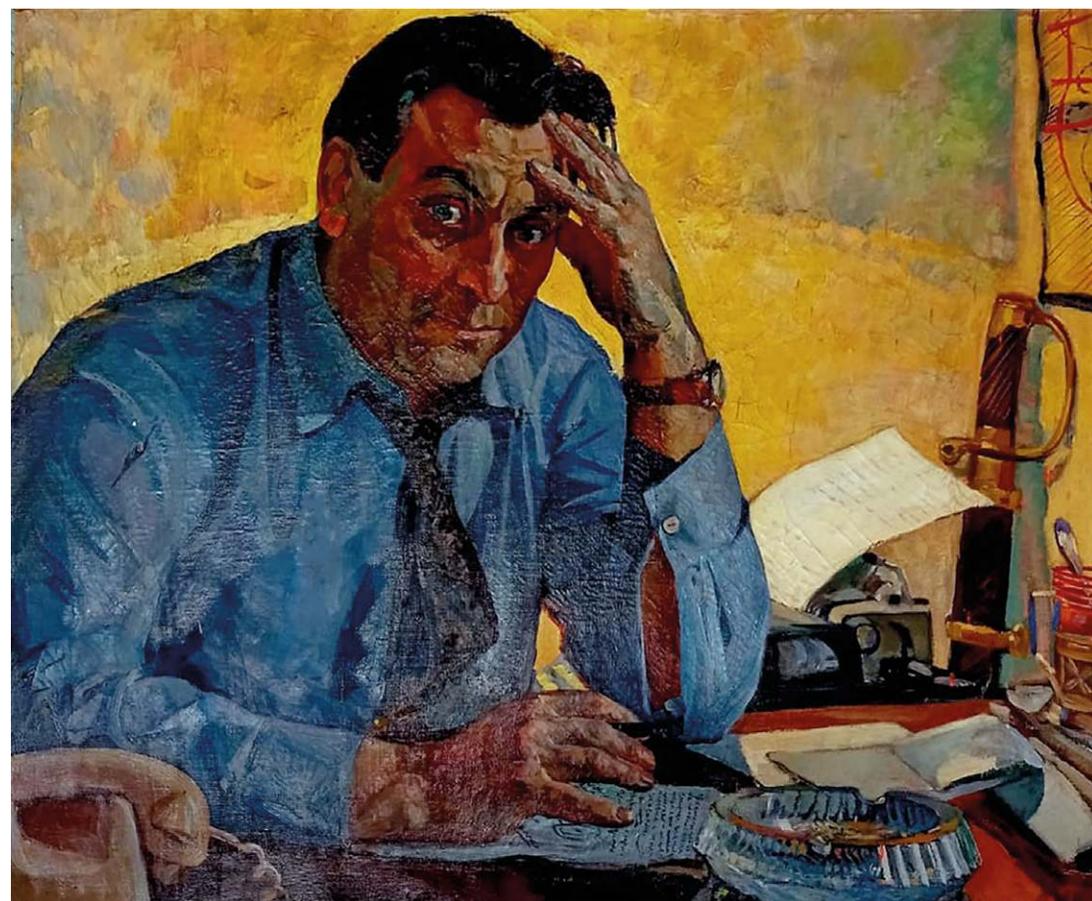
— Гошка, у тебя тут морг, что ли?

— Да. А что? — отвечает отец. Окно выходило на старый деревянный морг.

— Да полежать хочется.

В ЭКСПЕДИЦИИ

Летом 1961 года отец взял меня в экспедицию по местам партизанских боев времен Гражданской войны, на запад и юго-запад края. Целью ее было собрать материалы о событиях того времени, прежде всего свидетельства их участников, которых оставалось все меньше. Возглавлял экспедицию генерал-майор запааса М.Т. Карначёв, а ее дневник вел мой отец. Он же записывал на магнитофон воспоминания партизан. Один рассказчик страшно матерился, и отец при ка-



Георгий Васильевич Егоров. 28.12.1923 (с. Тюменцево Алтайского края) — 28.02.1992 (Барнаул)

Ваганов — все вместе работали в стройгазовской многотиражке «Строитель». Таким образом, из небольшой редакции вышло четыре писателя — факт, пожалуй, не менее замечательный, чем факт рождения на маленьком хуторе двух мальчиков, ставших председателями Совета министров СССР — Рыкова и Молотова.

Конечно, ассоциации, возникавшие при слове «газетчики» у отца, были неизмеримо богаче моих,

ждом мате старался прикрывать микрофон рукой, но вскоре понял, что это бесполезно. Оказалось, старика, в 1919 году еще молодого, колчаковцы расстреляли вместе с другими односельчанами и закопали во рву, но он выжил и с тех пор, как только начинал говорить об этом, удержу не знал — кричал, размахивал руками... Заматерись, когда тебя расстреляют. Где теперь этот документ того жестокого времени, когда брат шел на брата?

Много таких свидетельств легло в основу отцова романа «Солона ты, земля!», и не только из этой экспедиции. Из личных встреч с руководителями партизанского движения — Линником, Даниловым, Громовым... Ординарцем командира полка Красных орлов Коляды был отец отца, мой дед Василий Григорьевич, в романе — Васька Егоров. Даже после выхода книги в нашу квартиру №126 в доме 54 по проспекту Ленина приходили ветераны и дополняли и опровергали ее. Когда не было отца, я принимал их и терпеливо выслушивал. «Мы не с этой стороны ворвались в село, а с противоположной, — говорил один из них, — так и скажи отцу». И старик в третий или четвертый раз рассказывал свою историю. Отец, всегда внимательный к деталям, которые могли, например, охарактеризовать личность или время, потом говорил: «Какая разница, с какой стороны, главное — историческая правда». Но у каждого была своя история, и она была самая главная и правдивая. Некоторые уверяли, что это с них был списан старик Юдин, хотя тот был вымышленным героем. Видимо, типичным он оказался...

В одном из сел состоялась встреча с известным комиссаром Барановым. У него, видимо, еще со времен Первой мировой сохранилась сабля, штатная сабля кавалериста, на эфесе которой выбито: «злат. ор. фабр.» — Златоустовская оружейная фабрика, а чуть ниже — «1914 г.». Тут же на фоне барановского дома отец меня с ней сфотографировал. Как он выпросил ее у хозяина, в тот ли раз или потом еще к нему ездил, я не помню, но сабля до сих пор в нашей семье. Отец иногда брал ее в руки, поворачивал, вынимал из ножен, задумчиво говорил: «Это ж сколько людей ей было порублено!...» Отец использовал ее в мирных целях: во-первых, она одним своим видом переносила его в те давние времена, о которых он писал, а во-вторых... когда он уезжал в деревню работать над романом, брал ее с собой и рубил ей в заброшенном огороде траву, наверное, во время творческой заминки. Точил ее, а потом опять рубил, вдохновлялся таким образом. Она вместе с отцом позировала известному нашему художнику и скульптору Владимиру Фёдоровичу Добровольскому при создании отцова портрета.

Как-то умел отец находить с людьми общий язык, несмотря на свое заикание от фронтовой контузии и, как следствие, вынужденную замкнутость. Долго он, например, добивался встречи с бывшей гражданской женой Колчака Анной Васильевной Тимирёвой, правда, ее он бомбардировал письмами, в которых заикания не видно, но при встрече-то надо было ее еще разговаривать...

ТВАРДОВСКИЙ И ЯИЧНИЦА

В юности, молодости отец очень любил Маяковского. Маяковским его заразил школьный друг. (Не зная этого, в школе увлекался ранним Владим Владимычем и я. А может, это все-таки отец меня к нему подтолкнул?) В зрелые годы (а может, еще с войны?) в его душу прочно вошел Твардовский. Особенно отец любил «Василия Тёркина». Он не раз читал главы из него в семейном кругу, цитировал к случаю. И всегда при этом восхищался вслух. В поэме у него были любимые места, к которым он не раз возвращался. Одной из таких глав была «Переправа».

Переправа, переправа!
Берег левый, берег правый,
Снег шершавый, кромка льда...

Младший лейтенант Георгий Егоров на фронте.
Фото предоставлено автором



Кому память, кому слава,
Кому тёмная вода, —
Ни приметы, ни следа.

Ночью первым из колонны,
Обломав у края лёд,
Погрузился на понтоны
Первый взвод.
Погрузился, оттолкнулся
И пошел. Второй за ним.
Приготовился, пригнулся
Третий следом за вторым.

Как плоты, пошли понтоны,
Громыкнул один, другой
Басовым, железным тоном,
Точно крыша под ногой.

.....

...И столбом поставил воду
Вдруг снаряд. Понтоны — в ряд.
Густо было там народу —
Наших стриженных ребят.

И если при словах «басовым, железным тоном, точно крыша под ногой» отец повышал голос, словно подражая этому звуку (ему вообще нравилось это сравнение), то «густо было там народу — наших стриженных ребят» он произносил срывающимся голосом.

Этот отрывок я и выбрал для чтения в классе, когда мы стали изучать Твардовского. Читая наизусть у доски, я не обратил внимания на реакцию класса, только потом вспомнил, что все слушали затаив дыхание — то ли увлеченные, то ли пораженные тем, что я читаю как-то не так. Читать нужно было с выражением, я же читал, как выяснилось, без выражения.

— Ничего, — сказала «подкованная» учительница, — так тоже можно читать. Так обычно читают свои стихи поэты.

Я читал, наверное, так, как отец. Не помню, что получил — «четверку» или «пятерку».

Помню другой случай с этой же моей продвинутой учительницей. Я учился уже в университете и был на каникулах. Брат попросил меня написать за него домашнее сочинение. То ли про остров Даманский, то ли просто на патриотическую тему, а уж Даманский я выбрал сам. Короче, я попытался показать события на Даманском глазами молоденького солдата, который не понимает, что происходит (ведь китайцы были нашими друзьями), но тем не менее выполняет свой долг. Помню, придумал я такую деталь: в будке машины, которая везет солдат на передовую, бессмысленно болтается моток проволоки, символизирующий сумятицу в душе главного героя. Потом Толя рассказал о том, как оценила наша общая с ним учительница мою писанину.

— Вот брат ваш писал сочинения — это да! — сказала она. — А вы... Это какой-то апофеоз трусости.

Да, далеко мне было до Тургенева, который, как известно, получил за сочинение, написанное им вместо какого-то гимназиста, двойку. Я получил четверку за воспевание трусости — не за бездарность, как Тургенев.

Тогда, когда мы с братом были мальчишками, отец нам не рассказывал о войне, даже если мы его просили об этом. И потом мало рассказывал, так, по случаю — эпизод, не больше. Война штука тяжелая, тем более что закончил отец ее не бравым победителем в Берлине, что могло бы несколько скрасить ее горечь, а тяжело раненным, контуженным калеккой, и вернулся он домой не под бравадную музыку оркестра, а под страшное свое заиканье, когда каждое выговоренное слово стоило ему больших мучений... Конечно, после такого и спустя годы особенно не разговориться.

Война перегорала в душе отца, переосмыслялась, переплавлялась — медленно. И только спустя двадцать лет вылилась в первый очерк, положивший начало «Книге о разведчиках». Ее он писал почти до конца своей жизни. И получилась светлая книга. Но она — не о войне. Она именно о разведчиках, о боевых товарищах, успевших и не успевших совершить подвиг (одна глава так и называется «Он не успел совершить подвиг»), о фронтовом братстве тех стриженных ребят, о которых писал и Твардовский. Вот почему отца так тянуло к гениальной поэме Александра Трифоновича.

Много лет спустя я прочитал в «Книге о разведчиках» новую главу, из которой узнал, что отец дважды форсировал Южный Буг (в первый раз немецкие танки сбросили его взвод конных разведчиков в реку) и перед вторым форсированием, которое должно было проводиться остатками полка, готовился к смерти: немцы уже знали о наступлении и так пристреляли реку, что выжить казалось невероятным. Вот почему «Переправа» так была близка отцу.

...Отец зашел к нам в детскую.

— Вот послушайте, ребята: «По дороге на Берлин вьется серый пух перин». Это Твардовский. Одно предположение, а все им сказано, нарисована целая картина. Мы гоним немца, он уже выпустил из себя боевой дух, как перина пух. Тут и бесшабашность нашего солдата, выпустившего из немца этот дух, как из перины, и знающего, что вот он — Берлин, а там — конец войне, а там — домой... Этот поднимаемый машинами, танками, пушками пух — это знак победы. Здорово, да?

— Здорово! — соглашаемся мы с братом.

...Мы с отцом, оставшиеся дома вдвоем, жарим немудреную яичницу на сале. Отец стоит задумавшись. Видно, что он далеко-далеко. Потом, встрепенувшись, произносит с улыбкой:

— «Эх, яичница! Закуски нет полезней и прочней. Полагается по-русски выпить чарку перед ней». — Это хорошо знакомые мне строки из «Тёркина». — Юрк, а давай выпьем водки, а?

— С чего это вдруг? — спрашиваю я подозрительно, отец уже давно не пьет и не курит: сердце.

— Да так, что-то захотелось.

Отец идет в свой кабинет, где в книжном шкафу, раскинувшемся на две смежные стены (сделан по чертежам отца на мебельной фабрике), есть бар. Сам отец выпивает только по праздникам и только бокал шампанского, но для друзей и гостей у него в баре и водка, и коньяк, и ром, и грузинское вино «Киндзмараули», и даже невероятное в те времена в Барнауле виски «Белая лошадь», которое я по случаю привез из Москвы и которое мы с братом, попробовав, не стали пить: самогонка самогонкой. Отец виски прибрал: вдруг найдутся ценители.

Отец приносит бутылку водки. Мы выпиваем по рюмке, отец — с видимым удовольствием, «с улыбочкой», как он выражается. («Ты что морщишься? — сказал он мне как-то. — Тебя никто не заставляет пить водку. А если пьешь — пей с улыбочкой»). Затем мы не спеша, как Тёркин, закусываем яичницей («Ел он много, но не жадно, Отдавал закуске честь, Так-то ладно, так-то складно, Поглядишь — захочешь есть»).

Теперь я знаю, почему отцу «что-то захотелось» водки. Прочитав «Тёркина», вспомнил он, видимо, фронтовые сто грамм и ребят-разведчиков, отмечающих удачный поиск: «языка» притащили и своих никого не потеряли.

...И по сию пору вспоминаем мы с мамой иногда другой случай. Брат, маленький еще, увидев на столе яичницу, тут же продекламировал из «Тёркина»: «Эх, яичница, закуски нету!»

Отец, мама и я так и покатались тогда со смеху.

...Однажды под Сталинградом отец, как и Тёркин, попал в дом отдыха. И тот и другой покинули фронтовой рай до срока. Вот как это описывает Твардовский:

Хороши харчи и хата,
Осуждать не станем зря,
Только, знаете, война-то
Не закончена, друзья.

.....

Закусил, собрался, вышел,
Дело было на мази.
Грузовик идёт, — слышал,
Голосует:
— Подвези.

А вот как — отец:

«Пробыл я в доме отдыха, наверное, дня четыре. Всего лишь. Дом отдыха был недельный.

И вот однажды утром мы услышали далекий гул. Выскочили из дома. Прислушались. Сомнений ни у кого не было — это канонада... Все тут же решили, что это наши пошли в наступление... Постояли молча, послушали и молча пошли собираться.

Я тоже, как и многие, выгнали из подголовья свой автомат, привычно закинул его на плечо стволом вниз и пошел в сторону дороги... через три-четыре часа я был уже в расположении своего полка».

КОНТУЗИЯ

Отец дважды родился (фактически 28 декабря 1923 года, а по свидетельству о рождении — 7 января 1924 года). Шесть раз был ранен, контужен. Один раз убит (домой пришла похоронка). И на всю жизнь остался ранним человеком.

Последняя разведка закончилась для отца тяжелым ранением. «И мы окунулись в густой туман, как в огромную банку с молоком. Шли раскинувшись цепочкой, тихо переговариваясь. По всем правилам военной тактики немцы не должны бы окопаться в низине — а мы шли пока по озимым вниз, под гору... И вдруг подул ветер — ощутимо заходил туман. Минута-две — и уже появились прорехи в тумане. Мы опешили: прямо перед нами, буквально в полусотне шагов, немецкие траншеи, кишасшие фрицами. Один из них увидел нас. Также замер от недоумения. Но тут же пришел в себя, кого-то окликнул и стал показывать на нас пальцем. Это длилось всего секунду-две. И тут же ударили два пулемета. С первой же очереди вокруг меня защелкали разрывные пули. Ударило по правой руке».

Большая потеря крови, госпиталь, операция, переливание крови. Еще одна операция.

«Новый энциклопедический словарь»: «Контузия (от лат. contusio — ушиб), общее повреждение организма при ушибе всего (или б. ч.) тела, чаще при действии ударной возд. волны. Проявляется потерей сознания (вплоть до комы), последующей амнезией, головной болью, головокружением, нарушением слуха и речи».

«Книга о разведчиках»: «В нашем госпитале лежали контуженные. Это народ нервный, вспыльчивый. Часто совершенно беспричинно вспыхивали драки, слезы... И вдруг один из наших выскочил за ворота — захотелось ему на базарчик — и носом к носу столкнулся с милиционером. Остановился. На лице у него появилась этакая виноватая улыбка. Милиционер козырнул ему и стал что-то вежливо объяснять. Тот — который наш — в свою очередь хотел, наверное, ему сказать, что, мол, только табачку купить... А у нас многие страшно заикались после контузии. Из таких, наверное, был и тот, выскочивший. Он с улыбкой на лице начал объяснять милиционеру. А слово выговорить не может — уперся прямо в первую же букву и ни с места. Надувается. А выговорить все равно не может — совсем заело. Начал багроветь от натуги. Милиционеру надо бы отойти, пропустить его к базарчику — и все. А он из жалости к парню начал помогать ему выговорить слово вроде того, что, мол, ну-ну, давай-давай. А в том злость закипела, на самого себя прежде всего, а тут милиционер как раз со своим сочувствием. Развернулся — р-раз по уху. Тот — брык. Он тоже, видать, слабенький был, милиционер-то, тоже, видать, инвалид войны. Наш давай на себе рубаху рвать — крик поднял, истерику. Сбежались из обслуживающего персонала, ходячие раненые, начали уговаривать бедного...»

А что такое контуженный после войны, в мирное время? Первые годы после фронта отец страшно заикался. Чтобы выговорить слово, бил себя правой раненой рукой по ноге. У него выработалась

привычка молчать, произносить слова в крайнем случае и при этом жестикулировать без необходимости, как бы помогать себе рукой. Незнакомому человеку он мог показаться нелюдимым, даже мрачным. Мать моего школьного товарища на приглашение моей матери приходить в гости отказалась: «Я боюсь Георгия Васильевича». После этого мама выговаривала отцу: «Ну что ты такой неразговорчивый. Люди скоро будут от тебя шарахаться».

Конечно, с близкими, с друзьями отец общался охотно. Когда затрагивалась интересующая его тема, делал это даже азартно, но азарт передавался и заиканию.

Отцу постоянно приходилось контролировать свое поведение, сдерживать себя. Но раздражение накапливалось и когда-то все равно происходил взрыв, причем его мог вызвать пустяк.

...Мне года три, играю во дворе нашего дома в Романове. Мама работает на огороде. Соседский бычок подкрался и неожиданно бодает ее, она падает. Я страшно кричу. Бычок пытается боднуть лежачую маму. Я захожусь криком. Из дома вылетает разъяренный отец и — тоже с криком — бросается на быка. Тот не понимает, в чем дело: наверное, он просто хотел поиграть. Отец на ходу хватается палку и бьет быка, тот, взбрыкивая, бежит. Отец — за ним. Так они долго бегают по огороду. Я уже не реву, затаив дыхание, слежу за ходом битвы: наша взяла. Сейчас я думаю, что отец, видимо, понимал, что не надо бы топтать грядки, но не мог унять сердца.

Контузия отразилась не только на отце, но и на всей нашей семье. Мой младший братишка Толик, чуть что не по нем, тут же заявлял: «Псих разведу!» И если его требование не выполнялось, ложился под кровать на спину и бил ногами в пол. Баба Маня, мать отца, строжилась: «Я те разведу, я те разведу!», а сама боялась, как бы внушек не выкинул еще чего. Отец же обычно сразу уходил в другую комнату, но он боялся не Толика, а себя: видимо, ему не раз вспоминался в таких ситуациях случай в госпитале с милиционером. Не боялся только я, разрешал брату: «Давай лезь под кровать». Мне досталось от контузии заиканье, правда, не такое сильное, как у отца.

Только мама могла найти общий язык с младшим сыном, а когда срывался отец — и с ним: «Гоша, Гоша! Что ты?», и в глазах у нее стояла тревога. Тяжело, конечно, ей приходилось с отцом. Раз или два в ответ на крик отца и она взрывалась: «Распустила я тебя, все жалела!» Отец приходил в себя, просил прощения.

«ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ ВСЕ»

Это было глубокое убеждение отца.

Исходя, наверное, из этой внутренней убежденности, он смело, не сомневаясь в успехе предприятия, брался за новые для него дела.

Имея за плечами девять классов, небольшой опыт работы в газетах и написав два-три рассказа, которые не принял московский журнал, отец садится в 1952 году сразу за роман-дилогию. Четыре года пишет книгу вторую, потом пять лет — книгу первую, потом три года дописывает первую. Издательство роман бракует. Отцу советуют взять в соавторы опытного писателя — Марка Юдалевича. Но отец упорно работает сам. Наконец в 1963 году выходит первая книга романа «Солона ты, земля!» Вторую книгу отец так и не увидит, но будет знать, что она набрана в типографии и уже подписана в печать. Всего роман



Георгий Егоров. Автопортрет. 1943.

Фото предоставлено автором

выдержал девять изданий. Ни одна книга, издававшаяся на Алтае, не была так популярна.

(Мама рассказала: отца наградили отрезом ткани, он отдал его бабе Мане, чтобы она сшила ему брюки. Баба мерила-мерила — не хватает на брюки. Отец сам раскроил, и все получилось. Где отец учился кройке и шитью? Нигде.

Мама, возвращаясь с курорта, знала, что на вокзале мы все должны ее встречать. Она видит улыбающегося отца. А где же дети? Мама не узнала нас, потому что мы были одеты в только что сшитые отцом шортики с ляжками крест-накрест.)

Баба Маня жила в избушке около Оби, а мы на Ленинском проспекте около почтамта, и я время от времени таскал то туда, то сюда зингеровскую швейную машинку, которая была нужна то бабе, то отцу (мне было лет 9–10). Сейчас не перечислю всего, что шили портные-самоучки, но прекрасно помню палатку, сшитую отцом: ее на все лето ставили в Калиновке на берегу Оби на «на-сест» — от подтопления. В палаточном городке всегда жил кто-нибудь из знакомых. Товарищ отца по газетному цеху хозяйственный Василий Павлович Леонов написал краской на нашей палатке «Агамемнон».

По своему чертежу отец заказал на мебельной фабрике книжные шкафы на две стены своего кабинета. Следуя его примеру, я сделал чертеж шкафа в своем кабинете главного редактора Алтайского книжного издательства.

В Сосняке под Белоярском мы под руководством отца и с помощью его друзей (каменщик, печник) построили большую (9х11) дачу. Отец добывал материалы, платежные квитанции аккуратно складывал (мама пугала: «Гоша, тебя посадят за эту дачу»). Приезжая на стройку, показывал нам с братом: здесь копайте яму. Мы выкапывали. Нет, не здесь, копайте вот здесь. Мы опять выкапывали. Через день история повторялась. Что ж, Москва тоже не сразу строилась, не то что дача.

Как у творческого человека, у отца постоянно возникали мысли что-то переделать, усовершенствовать. Приученный на фронте быстро есть (война не ждет), он и дома не давал еде спуска. Когда мама пекла на двух сковородках блины, с отцом не садись: пока ты управляешься с одним блином, он съест два, а то и три. Понятно, что отца не могли устроить узкие вилки, и он раздвинул у них зубцы, расширил захват.

У безопасной бритвы круче загнул пассатижами края нижней пластины, чтобы заострить угол атаки лезвия. У отца было два станка, один взял брат, другой я и не променяю его ни на какие ультрасовременные «Gillett». Особенно если учесть, что приходится брить щетину около усов и бороды.

Я уже отметил, что отец прекрасно рисовал. Упоминутой в главе о лошадях картиной он, конечно, не ограничился. В девятом классе на уроке, на последней парте, нарисовал на внешней стороне левого запястья и выколол иголкой и чернилами портрет Сталина. В Солтоне сделал портрет генералиссимуса маслом в полный рост — для районного Дома культуры. Мама говорит, всем понравился: похож. Денег ни за работу, ни даже за краски отец не взял, ведь под руководством Верховного главнокомандующего он воевал.

Когда мне было лет семь, отец нарисовал на деревяшке маузер и выпилил его лобзиком со всеми выступами и дыркой под указательный палец. Ничего подобного у моих сверстников не было. Тогда вообще игрушек было мало. Нам с братом купили железную машину, которую тот разобрал на детали: хотел посмотреть, что внутри. Мне очень жаль стало ее, и я обзавел Толю мастером-ломастером. Сейчас в большой песочнице маминного двора валяется столько всевозможных игрушек, что их хватит на целый детский сад, владельцы этого богатства не забирают его домой.

...Я, конечно, не считаю отца уж таким уникальным человеком, обладающим многими талантами. Русский народ вообще талантлив, переимчив, быстро обучается, осваивает новое. В начале войны немцы, уже имевшие опыт боевых действий (не говорю здесь о превосходстве в технике), били нас. Но необученные мальчишки вроде моего отца, его ровесника Ивана Исаева, взявшись за незнакомое им дело разведки, быстро его освоили и в конечном итоге не только победили врага, но и восстановили разрушенную страну. Прошедшие фронт, они не боялись никаких трудностей.

Ассоциация мгновенно переносит мысль в разрушенный Донбасс. Враги России реанимировали фашизм, устроили переворот на Украине, двинули к нашим границам регулярные войска и бандеровские батальоны, но их опять встретили необученные русские мужики — шахтеры и трактористы — и опять погнали на запад. Они ремонтируют отбитые у фашистов танки и идут на них в бой. Они, как их отцы и деды, могут все.

А как можно победить людей, которые могут все! ❏